

Михаил ПОПОВ
Посреди Гипербореи
Отрывок из романа «Свиток»

Предисловие автора

В романе «Свиток» два главных персонажа – Михайла Ломоносов и наш современник Михаил Русанов, моряк и литератор, который пишет киносценарий о своём великом тёзке и земляке.

В кунун 250-летия со дня кончины М.В.Ломоносова я мог бы вычленил и предложить вниманию читателей соответствующую главу, которая находится ближе к концу романа. Но после некоторых размышлений выбрал другой отрывок. Почему? Отвечу прямо: захотелось заинтриговать нового читателя и, может быть, обратить его взор к чтению всего романа.

Разрабатывая судьбу Михайлы Ломоносова, я следовал биографическому канону. Не столько внешние обстоятельства судьбы привлекали моё внимание, сколько развитие натуры, то есть характера этого исторического персонажа, которого воспринимаю подлинным Титаном. Однако в эту главу я поместил то, что не вписывается в канон, а так или иначе выбивается из него. Сознвая, что работа над этим отрывком требует во всём неординарных решений, я для этого даже переместился в пространстве, оставив свой привычный письменный стол, и уехал далеко от дома...

Что вытянуло меня на верхнюю палубу, ума не приложу. Блажь? Наваждение? Чья-то воля? Зов? Но главное - для чего?

Я служил дизелистом, в тот час шла моя вахта. Перекуры члены машинной команды устраивали по очереди. Для этих целей на нижней палубе был устроен закуток на две банки. Освежить лицо, продуть свежачком разгорячённые лёгкие можно было здесь же, стоило высунуть голову в иллюминатор. А тут ни с того, ни с сего зачем-то потянуло на верхотуру. Словно кто взял за руку и повёл. Успел только кивнуть напарнику, чтобы подменил. И всё. А выбрался по трапам и сам себе удивился - не просто на верхнюю палубу попал, а под самый капитанский мостик. Здесь не то, что курить, но и торчать никому из матросов не дозволялось - ни рядовому, ни даже, как мне, - главстаршине.

На корабле был объявлен аврал. По трансляции без конца передавали о штормовом предупреждении. Только что-то не похоже было, что грянет шторм. В воздухе не чувствовалось ни дуновения. Стояли неподвижно кучевые облака. Висели сморённо флаг и гюйс. Да что там полотнища, если струйка дыма от моего "Севера" не гнулась, а тянулась вверх, словно нитка отвеса.

Что ещё показалось странным - необычное тепло. В Арктике и в июле-то не жарко: попробуй сунься на палубу в одной робе - вмиг прохватит, даром, что ты угрелся возле дизеля. А тут сентябрь - и не студит. Не оттого ли так вяло колготится палубная команда, сморённая дармовым теплом: чего шевелиться, коли колотун не подгоняет.

Происходило нечто необычное. Апатия, лень, оцепенение царили во всём - в движениях матросов, что проверяли шлюпбалки и парусину на шлюпках, в неподвижной застылости нашего корабля, в белесо-серой абсолютно неколебимой пустыне моря, в небесной непроницаемости... Казалось, перед глазами ползёт едва уловимая, снятая замедленно, лента. Да нет - не лента, это стоит и не меняется один-единственный неподвижный кадр. Один-единственный.

И тут что-то стряслось. Едва я сделал вторую или третью затяжку, по привычке держа папироску в кулаке, хотя укрывать огонёк было не с чего, как внезапно налетел шквал. Словно пущенный кем-то аркан, перевитый из двух жил – вихревой и верховодной, - он выхватил меня с палубы, вознёс выше леера, потому что ограждения я даже не коснулся, и швырнул за борт. Он был короткий, но стремительный, этот шквал.

До меня не сразу это дошло. Я только что стоял под капитанским мостиком, мусолил подмоченную тавотом папироску и вот уже барахтаюсь в воде. Видимо, сознание не поспевало за перемещением тела. Оно, сознание, еще находилось там, возле стенки рубки, а я уже был за пределами корабля. Потому так вяло и барахтался. Только удивленно пялился на серый, крытый шаровой краской, борт нашего вспомогательного корабля да эдак растерянно поводил руками. Инстинкт всё ещё дремал, хотя тело уже обожгло стужей.

- Эй! - неуверенно закричал я, запрокинув голову. Неужели никто из палубной команды не видит? Неужели никто не видит, что меня скинуло? Где же сигнал "Человек за бортом?". Они там спят, что ли? - Эй! - повторил я.

На мой зов никто не откликнулся. Впрочем, я тут же и забыл об этом, потому что всё моё внимание устремилось к небу.

Облака внезапно потемнели, словно их осыпало пеплом, а в просветах меж ними вспыхнуло ослепительное пятно. Так тлеет плёнка, не выдержав накала лампы. Проецируясь на экран, оплавливающая дыра превращается в огненно-чёрного спрута, который корёжит целлулоид и, кажется, деформирует и пожирает сам экран. Тоже творилось и в небе. Не было никакого грома, треска разрядов, всё происходило в полной тишине, но было предельно ясно, что небесная ткань разрывается, просто я оглох или треск распарываемого купола ещё не достиг моего слуха. В считанные мгновения небо запыхало от края и до края, куда хватало глаз, затем оплавилось каким-то мёртвенно-матовым светом. А белые облака на фоне этого запредельного света стали свинцовыми. Это походило на вспоротую брюшину быка: белый пласт жировой ткани и тёмно-синие бугристые кишки - такое я видел в детстве, когда на скотном дворе забили старого бугая.

На меня накатил запоздалый страх. Не помня себя, я скинул один за одним отяжелевшие сапоги и, что было силы, потянулся к борту корабля - сначала к штурм-трапу, до которого было рукой подать, но потом смекнув, что до верхней ступеньки его не дотянусь, - к якорной цепи. Всё моё существо рванулось туда. Скорее, скорее, билось в воспалённом сознании. Я загребал торопливо - не кролем, не брасом, как заставляли в "учебке", и даже не по-деревенски - сажёнками, а по-собачьи, потому что роба моя от воды стояла колом и загребать руками во всю ширь было просто невозможно. Цель моя - цепь - была уже совсем близко. Я уже готов был ухватить её рукой, как внезапно невероятная сила потянула меня прочь от корабля. Я частил, я грёб во все лопатки, я хватал орущим что-то ртом солёную воду, а меня относил всё дальше и дальше. В этом супротивном течении не было никаких правил, никакой видимой причины. Корабль стоял на якоре, дизеля тарабанили на холостом ходу, ветра, несмотря на жуткие перемены в небесах, не прибавилось, стояла мёртвая тишина. А меня несло. Я в отчаянии цеплялся глазами за борт, за клюзы и открытые иллюминаторы, словно взгляд мой мог превратиться если не в канат, то в какую-то спасительную нить. Увы. Спасительная нить истончилась до предела, превратившись, видимо, в паутинку, так далёко меня отнесло. Я уже не загребал, поняв тщётность своих усилий, а главное потому, что сил почти не осталось. Остатки сил ушли на то, чтобы сбросить робу.

Теряя сознание, я вяло тянул шею в сторону корабля. Глаза слепило, словно их облепила слизь. Я пытался её смахнуть, жмурился, пока наконец не догадался, что всему виной дымка, что висит в воздухе. Горел воздух. Подтверждением тому был запах озона и характерный электрический треск. Воздух, пронизанный неведомым электричеством, разрывался и горел.

Меж тем вокруг продолжали происходить перемены. Водяной язык, что унёс меня от корабля, постепенно опал, течение угасло, а потом и вовсе замерло. Бессильно раскинув по воде руки, я запрокинул лицо к небу. Свечение из матового превратилось в фосфорическое. Я никогда - ни до, ни после - не видел такого зловещего неба. И видимо, не столько моё безысходное, гибельное положение, сколько это чужое небо, поразило меня. Уже не страх, а оцепенение и апатия оковали моё существо, словно в этот миг из меня вырвали саму душу.

Жизнь из меня уходила. Безвольно распластанные руки, как крылья попавшей в нефтяную тину птицы, ещё шевелились, поддерживая тело на поверхности, но ноги, окованные ледяным панцирем, уже тянули в пучину. А главное - ускользало сознание.

Что произошло дальше - объяснить не могу. Подо мною, где-то в морской бездне, словно, повторяя какие-то небесные перемены, снова забурлило, вспучилось, взнялось и, неведомо откуда, точно опара из кадушки, поползла волна - да какая волна! - обратная. Это напоминало опыты Стефана Серафимовича, моего учителя в «ремеслухе», когда на столе его, словно сама по себе, раскручивалась и закручивалась плёнка.

Тот водяной язык, что забрал меня в относ, был прямой, как язык мальчика-сорванца, дразнящего недруга. А в обратную сторону меня погнала именно волна. Она закручивалась долгим веретеном, обращаясь в мощный вал, и, удерживая меня на гребне, понесла к кораблю.

Я был до того обессилен и парализован, что ничего не понимал. Сознание почти угасло. Тот миг, когда меня забросило на борт корабля, причем, как оказалось, почти туда, откуда сорвало, не помню. Как и того, когда в меня обратно вернулась душа. А уж о том, как мотало наш кораблик яростной воздушной волной, которая навалилась через несколько мгновений, я узнал лишь из рассказов сослуживцев. Это было уже в госпитале, где оказалась чуть не половина нашего экипажа. Военные врачи хранили молчание, но правду скрыть не смогли. Мы попали "под атом". И только много лет спустя я узнал, что кораблик наш находился в радиусе действия мощной термоядерной бомбы, которую взорвали над поверхностью Земли...

...Мои мысли совершают кульбит, точно веретено той самой пряжи, что зовётся судьбой. Только поворот осуществляется не в пространстве, а во времени. Переносясь мысленно на тридцать лет назад, я испытываю почти физическую боль, словно перекручиваются, как пряжа, мои жилы. Но это не жилы трещат на моей шее, а всё ещё гудит, как басовая струна, мой позвоночник, испытавший почти запредельную дозу радиации. Видимых последствий, как будто бы, нет. Но, словно у солдата, потерявшего руку или ногу, возникают фантомные боли, так меня донимает память.

Я не однажды потом проходил на различных судах тот район и всякий раз до рези в глазах вглядывался в те воды. Что я пытался там отыскать - образ ли свой тогдашний, ключёк ли раздёрганной души, который, видать, потерял в ту осень - не знаю. Только глядел и глядел, вцепившись крепко-накрепко обеими руками в леер, хотя давно уже знал, что в одну и ту же бегучую воду нельзя ступить дважды.

Мои мысли кинулись в те полярные широты не случайно. Они остались в фарватере повествования, только чуть сместились во времени. А произошло это вот почему.

В тех самых местах, где ядерной волной швыряло-лупило наш вспомогательный кораблик - нашу лайбу, приписанную к Краснознаменному Северному флоту, за двадцать лет до этого, точнее в июле-августе 1940 года, стоял на якоре немецкий рейдер. До недавних пор этот корабль носил имя "Эмс" и представлял собой головное судно серии так называемых банонозов, принадлежавших транспортному ведомству военно-морских сил Германии - Кригсмарине. Детище гамбургских корабелов, "Эмс" в начале 1940 года был поставлен в сухой док судовой верфи Готенхафен. По особому приказу "Оберкоманде Марине", главного командования ВМФ, сокращенно ОКМ, он был срочно

переоборудован. Из заурядного, хотя и неплохого по ходовым качествам транспортного корабля, "Эмс" превратился в весьма грозный вспомогательный крейсер. На нём были установлены шесть дальнобойных 150-миллиметровых орудий, четыре торпедные аппарата, из них два - подводных, 60-миллиметровая зенитная пушка, шесть зенитных пулеметов. Весь этот арсенал тщательно маскировали ложные надстройки и фальшборты. Кроме того, в трюмах и нижних палубах хранились десятки торпед, сотни глубинных бомб и мин, тысячи снарядов. А ещё на борту переоборудованного "Эмса" находились быстроходный катер "LS-2" ("Метеорит") и разведывательный самолёт "Арадо-196", также упрятанные от посторонних глаз.

Куда, спрашивается, нацеливался этот крепкий морской кулак? Для каких целей готовился по сути вновь созданный рейдер? Какую задачу предстояло выполнять его экипажу?

Кригсмарине в затянувшейся морской битве всё более уступала ВМФ Соединенного Королевства. "Руле, Бритен!" на всех широтах звучало громче, чем "Дойчланд юбер аллес!" К тому же германский флот, изначально уступавший "владычице морей", к той поре понёс значительные потери. Надводные корабли и транспортные суда третьего рейха по сути были заперты на Балтике. Дальше Ла-Манша и Датского пролива англичане их просто не пускали, создав эффективную систему перехвата. И тогда в недрах ОКМ возникла одна весьма дерзкая идея. Она составляла в том, чтобы коренным образом изменить направление выхода кораблей в Мировой океан, а если конкретно - использовать для этих целей Северный морской путь.

В иные времена эта идея могла показаться бредом, плодом больного воображения, ибо Северный морской путь был исконной вотчиной России. Однако после того, как между СССР и Германией был заключён Пакт о ненападении, многое в отношениях сторон изменилось. Более того, сам проект альтернативного стратегического направления возник не случайно, а как своеобразное продолжение новых межгосударственных отношений. Советское руководство, умиротворённое заключённым Пактом, не препятствовало германскому плану. Единственным условием русской стороны была полная его секретность. Однако в этом же были заинтересованы и немцы. Только для германской стороны секретность играла военную роль, поскольку от неё зависел фактор внезапности, а для русских - политическую, ибо советскому руководству хотелось выдержать хорошую мину при нечестной игре, дабы перед сражающейся Британией и сочувствующим ей мировым сообществом не выглядеть монстром и двуликим Янусом.

Детали предстоящего похода немецкого корабля по Севморпути были согласованы меж главным штабом ВМФ Советского Союза и штабом "Зеекригслайтунг", сокращенно СКЛ, что в переводе на русский означает "Руководство войной на море". Приготовление рейдера к высокоширотному арктическому переходу завершила реконструкция корпуса. Ледовый класс корабль не обрёл. Но во льдах мог держаться уверенно. Для этого были сделаны дополнительные крепления корпуса и поставлен винт со сменными лопастями, какие использовали в своей арктической практике русские навигаторы.

Выход рейдера, который получил новое имя "Комет", а по списку СКЛ - "Корабль N 45", назначен был на начало июля. Проводить экипаж секретного первопроходца прибыл сам Редер. На самом удалённом от посторонних глаз пирсе выстроились в две шеренги двести семьдесят отборных моряков - лучших специалистов Кригсмарине. Речь гросс-адмирала, в отличие от запойных речей берлинских бонз, была краткой. На флоте, где всё подчас решают мгновения и точные, чёткие команды, не любят "долгоиграющих" ораторов. К тому же гросс-адмирал был давно болен.

- Моряки, альбатросы! - напрягая усталый голос, прохрипел Редер. - Фатерлянд с вами! Ваш корабль своим дерзким походом сомкнёт кольцо Нибелунгов. Генштаб рассчитывает, что, осуществив этот план, вы переломите ход военно-морских действий или, по крайней мере, внесёте в битву на море существенные коррективы. Семь футов под килем! Вперед, альбатросы!

3 июля вспомогательный крейсер "Комет" вышел в море. В отличие от яркого небесного тела, именем которого он был назван, крейсер не сверкал, а держался серой мышью. Одолев Балтику, он затем, прячась в норвежских шхерах, перетёк на Север России. Потом ненадолго осел в губе Большая Западная Лица, где, по согласованию с советским руководством, у немцев была создана особо секретная военно-морская база - "Базис Норд". А затем, взяв на борт двух русских лоцманов - Корельского и Сергиевского - двинулся на восток, вглубь Арктики, пока не напоролся на торосы.

* * *

Вынужденная стоянка крейсера "Комет" длится вторую неделю. Штаб русских разрешения на продолжение похода не даёт. Причина - циклон и как следствие - тяжёлая ледовая обстановка. Русские не лукавят. Метеосводки, получаемые с самолётов-разведчиков Люфтваффе, подтверждают эти сведения.

Русские лоцманы большей частью сидят по каютам, дожидаясь очередного выхода на связь, по иногда по очереди выходят с биноклями на бак. Их появление вызывает прилив желчи у корветтен-капитана Гишенбета. Он мрачно поглядывает из окна рубки:

- Ведут себя как хозяева.

- А они и есть хозяева, - снисходительно улыбаясь говорит командир корабля Роберт Эйссен. - Это их воды. Во всяком случае - пока. А у нас с ними Пакт.

Эйссен отпивает из тонкого хрустального стакана бордо и рассматривает его на свет. Подвалы Марны и Луары теперь в распоряжении вермахта. Отныне немецкие солдаты ежедневно выпивают по стаканчику доброго французского вина. А уж офицеры Кригсмарине да идущие на специальное задание получают в своё распоряжение самые дорогие и выдержанные марки. Таков закон войны, хоть это и не нравится отдельным гальским петушкам. Роберт Эйссен отдаёт предпочтение бордо. Тонкий породистый нос его трепещет, оценивая винный букет. Процесс исследования, похоже, помогают вести и холёная профессорская борода, обрамляющая лицо. Во всяком случае усы в этом священнодействии наверняка участвуют. Они, как радиолокаторы, улавливают все запахи и оттенки. А уж когда Эйссен делает очередной глоток, преобразается всё его лицо. Синие глаза лучатся. В сидящей бородачке плавают блаженная улыбка. Он увлечённо и даже самозабвенно перекачивает вино во рту, лаская бархатистой терпкостью все свои рецепторы и альвеолы, но при этом нити разговора не теряет:

- А потом, чего вы волнуетесь, Иозеф? Русские выполняют наш совместный договор, обеспечивают безопасность нашей проводки. И мы с вами пройдем-таки по этому Нордише зеевег... Как это по-русски?

- Северни морско пут, - на ломанном русском бурчит корветтен-капитан.

- О! - Роберт Эйссен поднимает указательный палец. - Вы и здесь делаете успехи, Иозеф! Bravo! Bravo! - И без перехода спрашивает: - А в данном случае что вам больше помогает: ваша феноменальная зрительная память или слух?

Корветтен-капитан, кажется, ничуть не польщён похвалой старшего:

- И то, и другое...

- Хотел бы я обладать хотя бы одним...

- Это не так уж сложно. Надо сосредоточиться и тренироваться. Разумеется, регулярно и помногу. Впрочем семь-восемь уроков - и наверняка появятся ощутимые результаты.

- Ловлю вас на слове: поступаю к вам в ученики.

- С одним условием, герр капитан.

- Каким, мой друг?

- Разрешите вылететь на авиаразведку.

- Помилуйте, корветтен-капитан, - морщится Эйссен. - Вы опять за своё! Да взгляните же за борт. Нас тащат льды. Мы дрейфуем, стоя на якорях. Видимость временами почти на нуле. А вы...

Корветтен-капитан хрустит суставами пальцев, этот треск не могут заглушить даже пошвысты ветра и скрип льда. Эйссен с опасливой жалостью смотрит на подчиненного. Мозговая работа корветтен-капитана, его нечеловеческая память, которой он фиксирует секретные карты, съедает, видимо, все его жизненные ресурсы. Оттого он столь худощав и тщедушен, оттого столь бескровно и бледно его лицо. Отпустить его на разведку? Нет! Этот фотографический аппарат на двуноге требуется Эйссену до конца похода, и рисковать им он не намерен.

- Вы слышали историю барона фон Штайна? - не столько спрашивает, сколько напоминает Эйссен. - Один из лучших асов разведэскадрильи полковника Ровеля. Пилотировал "Хейнкель-111". А "Хейнкель-111" не чета нашему бортовому "Арадо". Тем более тот, на котором летал фон Штайн. Одни дополнительные баки чего стоят... И что же?

Эйссен делает большой глоток, на сей раз забыв покатавать вино во рту:

- Был барон фон Штайн и нет больше барона... Пропал. Здесь, в Арктике. - Опорожненный стакан Эйссен ставит в углубление штурманского столика. - Вас устраивает такой финал? Нет. Вот и я вам говорю: нет.

В рубке наступает тишина, слышно как шмыгает носом слегка простуженный вахтенный, уроженец южного Розенхайма. Чтобы смягчить концовку Эйссен кивает на русского лоцмана, который с биноклем в руках торчит на баке:

- Опять же свидетели. Чем мы оправдаемся перед штабом русских, если предпримем авиаразведку? Как бишь зовут их командира?

Эйссен знает имя русского полярника, но хочет слегка потрафить корветтен-капитану.

- Папанин, - бурчит тот, делая ударение на последнем слове.

- Так как мы оправдаемся за ваш полёт перед герр Папанин?

Корветтен-капитан на это поджимает губы, дескать, лукавьте, только не со мной. Сколько было всевозможных несанкционированных полётов! Целая эскадрилья полковника Ровеля бороздила русские небеса вдоль и поперек, используя не только "Хе-111", но и высотный "Ю-86", оборудованный герметизированной кабиной.

- Господи, Иозеф! - решает переменить тон Эйссен. - Ну чего вы там хотите найти? Секретный фарватер? Секретную базу русских? Так мы и так всё знаем...

- Всё да не всё, - тихо роняет фрегаттен-капитан.

- Что вы хотите этим сказать? - тоже понижает голос Эйссен. В глазах его появляется любопытство. Прежде, чем стать военным, он был океанографом, исследовал северный шельф Исландии и Гренландии. Загадки и тайны будят в нём азарт, причём не меньший, чем азарт карточного игрока. Но корветтен-капитан, словно спохватившись, что сказал лишнее, неопределенно поводит плечами.

- Пойдёмте-ка в мою каюту, - поднимается Эйссен. - Там тише и уютнее. К тому же у меня давно стоит непочатая бутылочка коньяка. Да какого! Выдержки, представьте, одна тысяча девятьсот четырнадцатого года. Помните эту дату?

Эйссен и Гишенбет выходят из рубки и идут долгими коридорами. Из офицерской кают-компания доносится напористый голосок Марики Рёкк – господа офицеры, свободные от вахты, смотрят кинокартину «Ночь в мае». Ленте уже два года, она изрядно затёрта, но её крутят едва не каждый день.

Эйссен, чуть повернувшись к спутнику, на ходу делится, что видел Марику весной в Берлине. Где? Да в кабаре «Танцфест». Где же ещё обретаться богеме – всем этим артистам, художникам, писателям!? Доктор Геббельс закрывает глаза на эти последние островки старого Берлина, а гестапо туда доступа нет, хотя стукачей и там, надо полагать, полно – одни морфинисты да гомосексуалисты чего стоят... А Марика в тот вечер танцевала с каким-то хлыщём, говорят, датским дипломатом. Звучал фокстрот «Тодентанц» - фирменное блюдо кабаре, он у них называется «похоронный фокс» или

«пляска смерти». Однако Марика – поистине само олицетворение жизни, столь она женственна, сексуальна, так пластично она вторила саксофонам.

В каюте командира несколько помещений. В центре располагается просторный холл, справа двери рабочего кабинета, слева – также за дверями – спальня, а ещё дальше ванная и ватерклозет. Хозяин приглашающе показывает на одно из чёрных кожаных кресел, что стоят вокруг круглого дубового стола. Гишенбет садится спиной к иллюминаторам – тень хотя и слабая, но и она может слегка завуалировать лицо. Эйссен, угадывает уловку подчинённого и понимающе улыбается.

- Вы что-то не договариваете, Йозеф, – ласково говорит он, откупоривая пузатую бутылку коньяка. Это "Реми-Мартини".

Гишенбет не отвечает, с деланно-заинтересованным видом он оглядывает стены холла: на них висят гравюры парусников – красы и гордости германской истории.

Однако Эйссен не отступает. Он достаёт из бара две маленькие пузатые рюмки, наполняет их на две трети и приглашающе поднимает свою на уровень глаз.

- Прозит.

- Прозит, – откликается Гишенбет.

Он выпивает свой коньяк залпом. А Эйссен смакует, ловя синими глазами янтарные блики. Потом как бы нехотя снова обращается с тем же самым вопросом, но при этом добавляет ещё одно:

- А ведь знай я о вашей цели, господин корветтен-капитан, может, и не упорствовал бы...

Он, конечно, лукавит, герр Эйссен. Корветтен-капитану это ясно. Но очень уж ему надо вылететь на разведку. Ведь другого такого случая, скорее всего, больше не представится.

Эйссен на правах радушного хозяина подливает ему коньяку. Гишенбет машинально берётся за рюмку и также машинально выпивает.

- Хорошо, – нерешительно кивает корветтен-капитан, он весь ещё во власти сомнения. – Кое-что я вам расскажу.

Глаза Гишенбета, разгоряченные коньяком, оживают, наполняются блеском, отчего белёсые ресницы становятся ещё белее. Он окидывает быстрым взглядом гравюры, потом оборачивается, переводя глаза за стекло. Там в квадратных иллюминаторах зыбится ледяная пустыня.

- Это из области семейного предания, – наконец роняет Гишенбет, отворачиваясь от иллюминаторов. – У моего пращура был отменный слух...

- ...Который через поколения трансформировался в великолепную зрительную память, – подхватывает Эйссен.

- Вероятно, – кивает корветтен-капитан. – Благодарю Бога и предков. Природа оказалась щедрой ко мне. Однако полагаю, – сухо добавляет он, – что немалую роль в этом сыграл и мой многолетний тренинг...

Эйссен слегка кашляет. Смекнув, что своей поспешной репликой сбил корветтен-капитана с мысли, он деликатно напоминает:

- У вашего пращура был отменный слух...

- Это первая половина восемнадцатого века, конец тридцатых годов, – как бы погружаясь во время, медленно продолжает корветтен-капитан. – Пращура звали Карл. Карл Гишенбет. Родился он в 1717 году. В девятнадцать лет поступил в Марбургский университет. Учился хорошо, схватывал всё налету, если судить по его дневниковым записям. Кроме того, имел неплохой голос, любил распевать за кружкой пива веселые студенческие песни. При этом сам себе аккомпанировал, играя на цитре.

Тут корветтен-капитан делает паузу и снова прикладывает к рюмке.

- Но однажды веселье моего пращура, а потом и учёба прервались. И жизнь его пошла наперекосяк.

- Захворал? – осведомляется Эйссен.

- Хуже, - мрачно роняет Гишенбет. - Влюбился.

- Хо! - усмехается Эйссен, но от комментариев, боясь нарушить возникшую доверительность, воздерживается.

- Влюбился Карл в дочь хозяйки, у которой снимал жилье. Но любовь эта была безответной. Эта девчонка любила другого. И этот другой, - можете ли такое вообразить? - оказался русским.

При этих словах корветтен-капитан свирепо сверкает глазами, как до этого поглядывал на русского лоцмана. Но Эйссена удивляет не это.

- Русские учились в ту пору в Германии? Не знал, - и не в силах удержаться от иронии, добавляет: - Выходит, нелюбовь к русским у вас генетическая.

Корветтен-капитан супится.

- Ну, что вы, голубчик, - смягчая удар говорит Эйссен. - Вам надо только радоваться, что любовная история вашего предка не закончилась браком. Кто знает, как бы развивалась мужская линия вашего рода, случись иначе. Может быть, феноменальные способности Карла на нём бы и пресеклись. Ведь вы начали с того, что у него был отменный слух...

Корветтен-капитан мнётся. Пришла пора выкладывать самое главное, а он всё ещё в нерешительности. Новая рюмка "Реми-мартини" делает его покладистой.

- Тот русский унизил Карла. Они дрались на шпагах, и нервы Карла не выдержали...

- Ну, не поэтому же вы проситесь в полёт, Иозеф, - слегка укоризненно роняет Эйссен. - Что же такое услышал, ваш пращур, что до сих пор, хотя минуло два столетия, будоражит воображение его потомка? Не дух же того русского вы собираетесь обнаружить в этих широтах и сокрушить его винтом "Арадо".

Корветтен-капитан мрачновато кивает: да, разумеется.

- Карл Гишенбет услышал один разговор. Он происходил между двумя русскими - это было ещё до поединка между его заклятым врагом, его звали Михель, и ещё одним студентом, имя которого Карл в своём дневнике не называет. Комната того Михеля находилась под самой крышей, Карл располагался этажом ниже. Но благодаря тому, что были открыты печные заслонки в обоих помещениях, а главное - его острому слуху, он услышал всё. Правда, не всё, что слышал, разобрал. Потому что собеседники чередовали в своём разговоре русский, латынь, немецкий и французский.

- Зачем? - удивляется Эйссен.

- Это практиковалось в студенческой среде, - поясняет Гишенбет. - Чтобы закрепить языковые навыки. И не только при подготовке к экзаменам. Любые разговоры велись на смеси нескольких языков. Так я понял из дневника.

- Ну, - начинает поторапливать Эйссен. - И что было дальше?

- Русские фразы Карл, конечно, не разобрал. Но суть разговора, благодаря знанию латыни и французского, не говоря уж о родном, он понял. Речь шла об одном плавании, которое этот русский со своим отцом совершали в этих самых водах, где мы с вами, господин капитан, находимся. Однажды во время шторма их парусник потерпел бедствие. Сломался не то руль, не то мачта. Судно, - видимо, небольшое, потому что они управлялись вдвоём, - потеряло ход. Их долго носило по морю, они не чаяли уже выжить, как на третий или четвертый день парусник выбросило на необитаемый остров. Измученные скитаниями, они с трудом завели своё судёнышко в какую-то бухточку и тут же на палубе уснули. Спали, должно быть, долго, так были измучены. А когда очнулись, то глазам своим не поверили: они оказались в каком-то неведомом поселении. Там стояли необычные дома. Окна были такими большими, что, казалось, весь дом выстроен из горного хрусталя. Над поселением, не прекращая, сияло солнце. По горизонтам клубились тучи, а тут было солнечно и тепло. Кругом зеленела трава, деревья и кустарники, пестрело половодье цветов, изумляя скитальцев необычно яркими красками, посвистывали на разные голоса птицы, на лугах паслись обильные стада, в рощах мелькали дикие

животные. Но больше всего удивление вызывали люди. Люди были здесь под стать природе - яркими по одежде, добродушными и приветливыми по характеру, открытыми и чистыми, как их хрустальные дома. Среди них не было стариков. Они все были молодежьими и здоровыми, мужчины и женщины. А дети красивы и беспечны, как и подобает детям... Улыбка и радушные жесты обитателей острова вывели отца и сына из оцепенения. Они приняли протянутые руки и вышли на берег... Жизнь этих робинзонов продолжалась на неведомом острове несколько дней. Но сколько - они сбились со счета, потому что всю пору сияло солнце, а когда оно клонилось к горизонту, ещё ярче сверкали хрустальные дома, принимая и отражая солнечные лучи. Обитатели острова угощали их всевозможными яствами: фруктами, ягодами, красной рыбой, белым мясом, поили молоком и кумысом, хрустальной родниковой водой. Им подарили новую крепкую и добротную одежду - кафтаны, порты и сапоги. А ещё помогли отремонтировать их судно, для чего срубили замечательную мачту и выстрогали новое перо руля... Последнюю ночь перед отплытием, намаявшись сборами в дорогу, мореходы заночевали не в доме - одном из хрустальных домов-ларцов, - а на палубе своего судёнышка. Усталость быстро их сморила. Они безмятежно проспали до утра, а когда очнулись, не обнаружили ни острова, ни хрустальных дворцов, ни их радушных обитателей. Недоумённо озираясь вокруг, они то и дело обращались друг к другу: уж не сон ли это был, уж не пригрезилось ли им, уж не заболели ли они неведомой куриной слепотой. Больше того, они даже склонялись к тому, что это был сон, дивное видение, которое пало на обоих сразу - на отца и сына. И только одно мешало до конца поверить, что всё это им пригрезилось - свежетёсанная мачта, на которой трепетал белый парус, и новёхонькое рулевое управление.

Лицо корветтен-капитана пылает багровыми пятнами, его стальные нордические глаза, глаза истинного арийца, сверкают тем пронзительным блеском, какой бывает у больных малярией или шизофренией. Роберт Эйссен видал и тех, и других, потому решает остановить этот словесный приступ жёстко и решительно.

- И вы поверили в рассказни того русского? Я допускаю, что ваш пращур двести лет назад мог принять эту чепуху за чистую монету. Но вы-то! Вы же классный гидрограф. Ас среди специалистов. Вас за глаза в прямом и переносном смысле зовут "доктор Аргус", то есть многоглазый великан, насколько я помню греческую мифологию. Неужели вы, материалист, трезво мыслящий человек впали в эту ересь?

- Я так и думал..., - упавшим голосом роняет корветтен-капитал. - Я так и думал, что вы не поверите...

- Дорогой, Йозеф, - смягчается Эйссен. - Нам, немецким морским офицерам, не к лицу мистика. Это штабисты без неё не могут. Сухопутная публика. Иначе у них почва из-под ног уходит. Ха-ха-ха! А мы с вами так в палубу вросли, что никакой ураган нас не сокрушит.

Пафос командира корветтен-капитан пропускает мимо ушей. Лицо его медленно гаснет. Эйссен спохватывается: а вдруг это не всё? И чтобы оживить подчинённого для продолжения разговора заводит речь на всякие скользкие, подходящие к моменту темы.

- Слышали, небось, что творится в ведомстве рейхсфюрера, - хмыкает он, слегка понизив голос. Ведомство Гимmlера, как и прочих бонз третьего рейха в их среде обсуждать не принято. Но голос свой Эйссен понижает не потому, что остерегается длинных, подобных ушам пращура корветтен-капитана, а чтобы подчеркнуть своё доверие к младшему по званию офицеру. - Там ведь дня не могут без мистических посиделок. Сидят, точно масоны, при свечах. Да все ссылаются на Игнатия Лойолу. Он у них, как икона. Не иначе скоро СС переименуют в орден иезуитов.

Эйссен отпивает коньяка и при этом, прищурясь, следит за лицом собеседника. Корветтен-капитан непроницаем, он, похоже, опять ушёл в себя.

- А эти экспедиции на Тибет, - подбрасывает нового хворосту Эйссен. - А эта пресловутая теория "полой Земли". Ха! Гросс-адмирал Редер как-то жаловался мне, что его постоянно отрывают на всякие спиритические операции. Кто-то из верхов настаивал

отправить дивизион подводных лодок к берегам Антарктиды. Дескать, под тамошними ледниками есть проход в глубины земли. Представляете?

- Но здесь другое, - неожиданно вскидывается корветтен-капитан, справившись не без помощи коньяка, конечно, с новым приступом отчуждённости.

- Что другое, дорогой Иозеф? - чуть надменно переспрашивает Эйссен. - Ваша история, точнее история вашего предка, или ещё точнее, того русского Михеля - это вариации на тему легенд о священном Граале. Не более того. В неприступном замке хранится чудодейственный Грааль - чаша с бальзамом, который дарует бессмертие и тайное знание. - С этими словами Эйссен изображает на лице умильное благодушие, точно дедушка, который читает внуку волшебную книгу. - Оттуда, с Севера, прибывает в челне, запряжённом лебедями, Лоэнгрин - сын хранителя Грааля Парсифаля. - Благодушие с лица Эйсена мигом сходит, его сменяет язвительная усмешка. - Уж не ваш ли это Михель, сей Лоэнгрин? А, Иозеф?

Корветтен-капитан растерянно хлопает белёсыми ресницами. Но Эйсену этого мало.

- Насколько мне помнится, у Эшенбаха в "Парсифале" Грааль изображается в виде камня, излучающего волшебный свет. Стоит взглянуть на него - и твоя жизнь продлится. Уж не тот ли это хрусталь, о котором вы поведали?

Корветтен-капитан хмурится, опять замыкается, утягивая голову в плечи. И Эйсену уже в который раз приходится брать примирительный тон.

- Полно, Иозеф, дуться! Эта история не стоит выеденного яйца. Но не потому, что она мне кажется не реальной, а потому, что она исходит из уст русского. Русские всегда были лодырями и выдумщиками. И этот русский, судя по всему, не исключение. Студиоуз середины XVIII века, забытый и у себя, в России, и тем более в Германии...

- Вот тут вы совершенно неправы, господин капитан, - голос корветтен-капитана крепнет. - Этот Михель стал в России знаменитым ученым. И у нас, в Германии, о нём до... недавнего времени тоже знали.

- Вот как! - вскидывает брови Эйссен, его синие глаза холодеют. - И чем вы это можете подтвердить?

- Чем? - корветтен-капитан долго не раздумывает. - А вот хотя бы картой...

Гишенбет показывает на карту Арктического бассейна, что висит меж гравюрами. Это старая, ещё времён Первой мировой войны, карта. Она датирована 1918 годом. Капитан Эйссен, бывалый лис, вывесил её для русских лоцманов, чтобы убедить их в своей полной неосведомлённости. Новые, хорошо разведанные карты Арктики хранятся в его сейфе. Они извлекаются оттуда только для корректировки и главным образом после того, как корветтен-капитан, стоя за плечами русских лоцманов, сфотографирует своим феноменальным мозгом их самые свежие пометки.

Эйссен медленно подходит к карте, на ходу оправляя свой чёрный, безукоризненно сидящий на ней мундир.

- Извольте, господин капитан, взглянуть на северную оконечность архипелага Новая Земля, - звенящим от напряжения голосом просит Гишенбет. - Видите горную заснеженную гряду?

- Вижу.

- Что там написано?

- Горы Ломоносова, - читает Эйссен, естественно, по-немецки.

- Вот это и есть тот самый Михель, - удовлетворенно заключает корветтен-капитан.

- Да-а? - удивленно тянет Эйссен, но всё ещё не желая сдаваться, пожимает плечами. - Не слишком-то великий. Я имею в виду хребет.

- Все иные крупные острова, горные хребты и цепи были в Арктике к его двухсотлетию уже поименованы.

- Ну, хорошо, - лениво улыбается Эйссен, возвращаясь за стол. - В том, что этот русский - известная персона, вы меня, кажется, убедили. Но что из этого следует? Что это меняет?

- Что он не шарлатан, этот русский, что он и впрямь был на том загадочном острове, который есть вход в иной мир, в иное измерение.

Корветтен-капитан начинает торопиться, захлебываясь собственными словами, что никак не вяжется ни с его тщедушным обликом, ни с его всегдашней отстраненно-флегматичной манерой. И дело тут не только и не столько в коньяке. Он жаждет убедить и ради этого готов идти до конца.

- Сами понимаете, господин капитан, мне весьма непросто отстаивать эту историю, поскольку она исходит из уст врага моего пращура. Его боль во мне. Она не даёт мне покоя...

- "Пепел Клааса стучит в моём сердце", - тихо ехидничает Эйссен. Корветтен-капитан пропускает его реплику мимо ушей.

- ...Но и тайна эта меня будоражит. И потому, несмотря на кровную обиду, я вынужден отстаивать и имя этого русского.

- Ну, на его честь, по-моему, никто и не посягает, - пожимает плечами Эйссен.

- А неверие в его историю, разве это не посягательство? - вскидывается Гишенбет.

- Ну, хорошо - имя... А чем вы еще докажете, что существует тот остров, ход в неведомое, канал в другое измерение? Или хотя бы существовал?

- Я перерыл массу литературы, господин капитан. Массу рукописей и книг. Слава всевышнему, они хранятся исправно. Труды зороастрийцев, других персов. Индийские "Веды", "Махабхарата"...

Лицо Гишенбета морщится, словно он пытается что-то припомнить.

- Прямых доказательств у меня нет. Вот я и прошусь... - Он простирает в стороны свои костистые руки. - Но косвенных... Косвенных сколько угодно.

- Например? - Эйссен вытягивает палец, как дуло.

- Например..., - мешкает Гишенбет и гаснет. - Прежде, чем привести какой-то пример я должен понять, господин капитан, как вы относитесь к Чарльзу Дарвину, точнее, само собой, к его теории...

Губы Эйссен кривятся в снисходительной улыбке:

- Любой англичанин, дорогой Иозеф, теперь для нас враг, но... истина, как говорится, дороже.

- То есть вы признаёте его теорию - теорию происхождения человека от обезьяны?.. - упавшим голосом переспрашивает Гишенбет.

- Помилуйте, Иозеф, я ведь тоже в некотором роде естествоиспытатель. Пусть и гидро... - Эйссен вальяжно разводит руками. - Не станете же вы отрицать значение науки... Науки как таковой.

- Нет, - тихо отвечает Гишенбет. - Разумеется, нет. Но в таком случае все мои примеры будут для вас изначально бессмысленны.

- Вы хотите сказать, что все ваши э-э... постулаты основаны на... ином начале?

- Так точно, - по-военному, хотя и тихо, отвечает корветтен-капитан.

- Ну, это проще простого, - разулыбавшись, тянет Эйссен. - Мировоззрение, как и моя гидрография, основывается на течениях. И я, дорогой Иозеф, воспринимаю их все - и донные и поверхностные... А что касается Дарвина..., - тут Эйссен немного мешкает, как бы раздумчивостью своей придавая серьезность моменту. - Умом я его ценю. Признаю, что ценю... Но сердце противится. Поверьте. Оно не желает быть производным мохнатого предка. Так что можете считать, господин Гишенбет, что я ваш единомышленник.

Корветтен-капитан мешкает. Ему очевидна проделанная на глазах подтасовка. Но не менее очевидно и другое - карты сданы, и бросать игру уже нельзя. Эйссена же затянувшаяся пауза начинает раздражать. Он залпом допивает остатки коньяка и вновь повторяет, точно учитель незадачливому ученику, что он, Роберт Эйссен, по

мировоззрению дуалист, что человек, по его мнению, - суть Божественного творения и что на Землю человек явился не как-то, а милостью Божьей.

- Явился здесь, - тихо роняет вослед его тираде Гишенбет, не обращая внимания на менторский тон.

- Здесь это... где? - озадаченно переспрашивает Эйссен.

- В этих местах, - неопределенно крутит рукой корветтен-капитан. Потом делает глубокий вздох, точно ныряльщик перед погружением, и уже, не мешкая, начинает пояснять, всё более торопясь и боясь упустить главное:

- В этих широтах, в этих координатах была суша. Здесь существовал иной климат - тепло, влажно. Земля была благодатной, благодатной и для пашни, и для леса, и для скота, и для зверей, и для злаковых и для виноградников. Здесь находился земной рай. Не иначе. Вот тут, в Гиперборее, как по-гречески называли эти места русские, и обитали перволюди - творения Бога. Именно здесь Господь их поместил. О том свидетельствуют многочисленные источники. Жили они в радости, в любви и довольстве. Жили долго и счастливо. Так было до недавних пор. До недавних, разумеется, относительно. Для вечности тысяча лет - миг. Десять-пятнадцать тысяч лет - тоже. Вот тогда, десять-пятнадцать тысяч лет назад та счастливая жизнь и оборвалась. Что случилось, спросите вы. Случилась вселенская катастрофа. Она неузнаваемо изменила всю земную географию и нарушила устоявшуюся жизнь. Что стряслось тогда - сказать трудно. Возможно, причиной был какой-то гигантский метеорит, который рухнул на Землю. Возможно, какое-то космическое тело врезалось в Луну, и воздушная волна рикошетом ударила в нашу планету. А может быть, каким-то образом повлияла на Землю одна из ближайших от нас планет... Суть не в этом. Главное - итог. Что-то сбilo земную ось, она сместилась, а вместе с нею сместились и земные полюса. На благодатные земли Гипербореи хлынула вода, а затем пала стужа. Ещё недавно райское царство, эти места стали покрываться ледяным панцирем. Люди, кто не погиб во время страшного столкновения или толчка, вынуждены были бежать...

Лицо корветтен-капитана снова разгорается, на нём играет едва ли не каждая жилочка. А как сверкают глаза! Эйссен смотрит на собеседника с любопытством. Видимо, он не дооценил его. Это не фотоаппарат в человеческом обличье. Отнюдь. Помимо феноменальных профессиональных способностей этот сухой череп таит незаурядный аналитический ум. Хотя для аналитика он, пожалуй, излишне эмоционален. Не иначе пращур-менестрель тут сплеховал...

Глаза корветтен-капитана устремлены на собеседника, но, похоже, он не видит того. Перед его взором встают ведомые и видимые только ему одному картины. И насколько это доступно языку, он передаёт их.

- Людская вереница, оставив родину, текла на юг. На юг, который ещё недавно был стылým полюсом. Отток длился долго - десятилетия, а то и столетия. Умирали поколения, их сменяли новые, но люди уходили от прародины всё дальше и дальше. Взгляд корветтен-капитана обращается к карте, невольно побуждая то же самое сделать и собеседника.

- Путь многих пролегал вдоль реки. Она называлась Двина и текла почти до этих мест, где мы сейчас стоим на якоре. Название её сохранилось до сих пор, но протяженность значительно уменьшилась, потому что низовья затапливал океан, пока берега полярных морей наконец не устоялись.

Корветтен-капитан проводит рукой какую-то незримую линию - она, должно быть, означает кромку воды и суши, а потом рубит воздух ребром ладони.

- Река, тогда необыкновенно быстрая и многоводная, разделила не только многие гиперборейские племена, но даже роды и отдельные семейства. Так быстро менялась окружающая обстановка. Иные умудрялись воссоединиться, одолевая бурное речное русло. Иные гибли, устремляясь навстречу друг другу. Иные двигались вдоль своего берега дальше, в надежде обрести единство в более узких речных местах, а то и у истока.

Ведь река сужалась и до конца верховий, казалось, уже недалеко. Но далее их подстерегало то, за что Двина получила своё название - она разделилась на два рукава.

Гишенбет отводит глаза от карты и переводит взгляд на капитана Эйсена.

- У меня перед глазами стоит гравюра Гюстава Доре "Изгнанные из рая". Помните, Адама и Еву, гонимых судьбой? Вот так и гипербореи. Гонимые стужей, неизвестностью, обездоленные и напуганные, они не в силах были вернуться назад, чтобы через русло встретиться с родичами - дети с родителями, жёны с мужьями... Они устремлялись дальше на юг, разделённые двумя рукавами и пространством в междуречье, которое разрасталось всё больше и больше... Вот так два потока - люди, пешие и конные, повозки, запряжённые быками, овцы и козы, они расходились друг от друга в разные стороны. Одни - на зюйд-вест, другие - на зюйд-ост, чтобы уже более никогда не встретиться или, если встретиться, то через сотни и тысячи лет, что в сущности одно и то же.

Роберт Эйссен, в течение всего долгого монолога Гишенбета не проронивший ни слова, наконец не выдерживает:

- Это, конечно, всё трогательно, дорогой Иозеф. Как всякая легенда о исходе или изгнании. Но какое это имеет отношение к... вашему русскому, как бишь его... Михелю?

- Самое прямое, господин капитан. Ведь он не кто-нибудь, а представитель той ветви, которая спустя тысячелетия вернулась в пределы прародины и овладела знаниями предков. В то время, как мы застряли в тесной Европе.

Роберт Эйссен на это саркастически хмыкает:

- Не хотите ли вы сказать, что мы с русскими исходим из одного корня?

- Именно так, господин капитан.

- Слышал бы вас доктор Геббельс!..

- Но мои слова вовсе не противоречат..., - откликается Гишенбет и при этом тычет пальцем не вверх, где по логике обретается один из высших адептов расовой теории, а почему-то в сторону. - Напротив. Всей своей историей мы, германцы, доказали, что именно наша кровь - кровь истинных арийцев, а все остальные - ветви побочные.

Роберт Эйссен усмехается. Повороты мысли подчинённого напоминают извивы изобат, коими покрыты морские карты, потоки подводных течений, на которые действуют рельеф дна, глубина и, разумеется, встречающиеся на пути препятствия.

- Побочные - это в том числе и русские?

- Так точно, - чеканит корветтен-капитан, - и русские.

- В таком случае, скажите мне, любезный, вот что: почему же именно они, как вы утверждаете, побочные, а не мы, истинные... первыми вернулись на земли прародины и стали тут хозяевами?

- Инстинкт, господин капитан, - ничуть не смутившись, живо отвечает корветтен-капитан. - Всеми причиной инстинкт. У нас, детей Зигфрида, рассудок, воля, энергия. А у них - животный инстинкт. Как у перелётных птиц. Птицы летят на гнездовья в Арктику, что, кстати, подтверждает, что их изначальная, как и у людей, родина здесь, - вот и русские... Пока наши пращуры обустроивали Европу, а после совершали походы ко Гробу Господню, стаи русских устремились в эти края и заполнили собой всё пространство...

- Лишив нас доступа, - поддакивает Эйссен.

- Совершенно верно, господин капитан, - лишив нас доступа. Но разве это справедливо? Мы, немцы, более достойны этих пространств. Вот почему мы от веку до веку устремляли сюда глаза и обращали наше оружие. Нас манит это пространство, оно зовёт нас. Так ножны зовут меч, когда он совершит святое дело.

Глаза корветтен-капитана горят фанатичным огнём.

- Да вы поэт, господин Гишенбет! Не иначе, и это вам передалось от вашего предка. - Роберт Эйссен слегка щурится, пытаясь угадать, насколько искренен его подчиненный и снова подливает в его рюмку коньяку. - А что касается меча, то на сей раз он, полагаю, не замедлит... Вот тогда, дорогой Иозеф, вы и проведёте свою разведку.

Огонь в глазах корветтен-капитана подёргивается пеплом.

- Наоборот, господин капитан! - он почти молитвенно складывает руки. - Сначала разведка, а потом... остальное. Поймите меня: здесь, в Арктике - главная тайна русских. Грааль - не Грааль, элексир - не элексир, но тайна очевидна. Она подпитывает их, благодаря ей они постоянно поднимаются, возрождаясь изо льда, как Феникс из пепла. Какие бы испытания на русских не обрушивались, в том числе и с нашей стороны, они всякий раз выстаивали.

- Ну, на сей раз им будет несдобровать, - жестко усмехается Эйссен и поднимает указательный палец. - Или вы не верите в силу германского оружия?

- Верю, господин капитан, верю! - поспешно отвечает Гишенбет. - Но чтобы добиться окончательной победы, надо сначала выбить оружие из рук врага. А оно, это оружие - в их тайне. Уверяю вас, господин капитан, Арктика - ключ к русскому духу. Об этом твердил и этот русский учёный. В своих последних научных записках, а их надо принимать как завещание, он неоднократно твердил об Арктике и о Северном морском пути. Он не откровенничал до конца - и это понятно! - но каждой строчкой он буквально заклинает своих соплеменников Арктикой. Почему? Да, по всей видимости, потому, что здесь у них прямая связь с небом, здесь русский дух достигает небес, наполняясь неземной силой.

С этими словами корветтен-капитан извлекает из внутреннего кармана своего мундира толстый гроссбух и вытягивает какой-то лист. Роберту Эйссену достаточно мимолётного взгляда, чтобы определить, что перед ним "синька" - копия какого-то документа. Но какого? Корветтен-капитан на сей раз ждать себя не заставляет, он мигом разворачивает лист, и перед глазами Эйсена предстаёт название газеты, оттиснутое готическим шрифтом.

- Это "Берлинская литературная газета" на французском языке, - поясняет Гишенбет. - Год выпуска тысяча семьсот шестьдесят пятый. Вот небольшая статья. Речь в ней идёт о проекте Ломоносова по изысканию Северного морского пути, а также об отправлении русским правительством экспедиции по этому проекту.

Эйссен, отставив рюмку с коньяком, выжидательно оглаживает свою холёную бородку, этот жест говорит о том, что он весь внимание. Гишенбет знает об этом и потому говорит веско и уверенно.

- Вот что в связи с этим я узнал из русских источников. Третьего марта профессор Российской Академии Ломоносов получил официальное письмо из национального Адмиралтейства. Обер-секретарь этого ведомства Шенин извещал его, что Адмиралтейская коллегия готова использовать во время арктической экспедиции опытный образец его "вентилантора". Ломоносов в ответ на запрос высказал возражение. Он пояснил, что модель ещё не доработана, что свойства её до конца не исследованы, а изготовление действующего образца займёт много времени, и эту идею следует отложить до будущего года.

Размеренный голос корветтен-капитана напрягается.

- Но дело даже не в этом. "Вентилантор"! Вы догадываетесь, господин капитан, что это такое?

Эйссен в знак недоумения поджимает губы.

- Ну как же, господин капитан?! "Венти..."

Эйссен напряженно морщит лоб, словно пытается что-то припомнить. Но Гишенбет не замечает его иронии.

- "Вентилю" по-латыни значит - вею, махаю. Понимаете? Выходит, модель та - это модель воздухоплавательного аппарата, вентилёта.

Эйссен озадаченно поджимает губы, он уже не иронизирует.

- Какой это, говорите, год?

- Тысяча семьсот шестьдесят пятый, - чётко, как на докладе, отвечает корветтен-капитан.

- Любопытно, - качает головой Эйссен.

- Больше чем, господин капитан! - подхватывает Гишенбет. - Если бы Ломоносов так внезапно не скончался, он, вероятно, построил бы этот "вентилантор" и отправился бы на нём в путь.

- Куда? - вскидывает брови Эйссен.

- Как куда? Сюда в Арктику.

- Зачем?

- Искать тот таинственный остров, на котором они побывали с отцом. Ведь отец его, судя по всему, вторично отыскал это место.

- То есть?..

- В пору, когда Ломоносов учился в Германии, отец его, зажиточный промысловик и крестьянин, почти в одночасье продал всё своё хозяйство. Представляете? Все пахотные земли, все сенные покосы, все рыбные тони и даже дом с усадьбой. Всё! А продал, отбыл на своём паруснике в неизвестном направлении. Говорили, мол, сильно пил и, будучи в подпитии, потонул, что, дескать, нашли его на одном пустынном острове, где и похоронили. Однако документальных свидетельств этому нет, хотя судебная система у русских, благодаря немецким образцам, к тому времени была поставлена. Нет координат этого острова - ни широты, ни долготы. Не ясно, в каком море этот остров - в Баренцевом или Карском. Я уж не говорю о том, что нет ни описания острова, где, якобы почил отец Ломоносова, ни тем более его зарисовки. Ничего. Ровным счётом ничего.

- И каков ваш вывод! - кивает Эйссен.

- Полагаю, что старик остался там, на том благодатном острове. - Гишенбет мотает головой в сторону иллюминаторов. - Либо другое: напитавшись через небесный створ свежей энергией, он обрёл новое состояние, боюсь сказать - телесность. Поймите меня правильно, господин капитан. Об этом трудно говорить, поскольку трудно в это поверить. Ведь вы до конца мне не верите, не так ли? Я вижу это... по вашим глазам.

- Оставим в покое мои глаза, - отмахивается Эйссен. - Вернёмся лучше к вашему... герою, к этому Михелю. Выходит, что и он собирался?..

- Если бы не внезапная смерть - безусловно, - твёрдо чеканит Гишенбет. -

Ломоносов не искал смерти. Он не страшился её, но и не желал преждевременного конца. Всё его существо было настроено на жизнь, на созидание. О том - все его научные изыскания, все сочинения. Но болезнь... Для созидательного продолжения Ломоносову требовалось обновление. Он жаждал обновления. А чтобы осуществить этот замысел, он и соорудил тот загадочный "вентилантор"... Кстати, не исключая, что мысль об этом аппарате, или "махине", как говорили во времена Ломоносова, навеял ему тот самый арктический остров. Полагаю, почти уверен, что он видел там парящих людей.

В холле капитанской каюты повисает тишина. Слышно, как за бортом шуршит шуга и колотятся в крупновскую сталь ледяные глыбы. Капитан Эйссен раздумчиво трёт виски, лоб, нарушая при этом безукоризненный пробор на своей седеющей голове. Корветтен-капитан напряжённо глядит на командира и, наконец, не выдержав затянувшегося молчания, сам нарушает его.

- Так как, господин капитан, с моим рапортом? - и тут же поправляется, - с моей просьбой?

Эйссен переводит взгляд за стекло:

- А что мы скажем русским?

При этих словах глаза Гишенбета радостно округляются, но голос он всё-таки сдерживает:

- Сбросим втихаря шлюпку, а лучше даже - спасательный катер. Вот и будет повод вылететь на поиски.

Эйссен кивает, потом неспешно переводит взгляд.

- Хорошо, - глядя прямо и твёрдо в глаза Гишенбету, говорит он. - Только чуть стихнет... Хотя бы на один балл... - Потом поднимает вновь наполненную рюмку. - Прозит, Иозеф!

- Прозит! - поднимая свою, откликается Гишенбет. Из-под пепла его глаз, мерцают фанатичные искры. Это мерцание лучше любых слов понятно бывалому авантюристу и игроку Роберту Эйссену.

- Полетим вдвоём, - сделав глоток, коротко добавляет он.

При этих словах Гишенбет приоткрывает рот: он ожидал всего, только не такого. От восхищения и радости корветтен-капитан не может найти слов. Эйссен доволен произведённым эффектом. Но это ещё не все. Меж усами и бородкой его, словно рыбка в шуге, плавает загадочная улыбка.

- Не найдём катер, так, возможно, отыщем старого аса барона фон Штайна. А, Иозеф!

Откуда, спрашивается, у меня эти подробности? А всё оттуда - из моря-океана. Оно, море, хранит множество всяких тайн. Но подчас иные секреты в буквальном смысле оказываются на поверхности.

Поздней осенью 1971 года научное судно, на котором я ходил вторым механиком, пробивалось южной кромкой Карского моря в западном направлении, дабы попасть в тёплые и дружественные объятия Гольфстрима. Впереди по курсу маячили Карские Ворота. Маячили, естественно, в переносном смысле. До них ещё предстояло чапать и чапать. А ледовая обстановка с каждым часом всё ухудшалась. "Карские - что царские...", - озабоченно бурчал штурман Песчанский, мой ровесник и постоянный партнёр по шахматам. В эти дни мы не сыграли ни одной партии - вся его мозговая сила уходила на постоянную доводку курса. Льды, напивавшие с норда, всё больше сужали зазор, и нашему "парахету", не имевшему ледового класса, предстояло проскользнуть в те Ворота, как в игольное ушко. А тут ещё неутешительные прогнозы, а тут ещё постоянное обледенение корпуса, требовавшее бесконечной околки, а тут ещё дурная примета - полузатопленное, встреченное на пути, судёнышко...

Белая яхтёнка, потерявшая к тому же мачту, настолько сливалась по цвету со льдинами, что вахтенный просто-напросто проворонил её. Заметили посудину уже с кормы, когда мы миновали её траверз, - бдительность проявил судовой повар, который в тот момент выскочил на палубу, чтобы выбросить за борт очистки. Правда, я не исключаю, что вахтенный "не доглядел" за обстановкой с благословения капитана, ведь нам в ту пору было не до находок, тем более таких - самим бы убежать от опасности. Но коль сигнал получил огласку, пришлось поднимать общесудовую тревогу и принимать экстренные меры.

Сколько матюков сыпанулось на голову прозорливого кока, который первым углядел "терпящее бедствие судно"! Да, бедалага, за всю свою десятилетнюю флотскую службу столько отходов не выхлестнул за борт, сколько получил этих самых, трёх-, четырёх- и пятиколенных... Особенно свирепствовал боцман Паюсов, - потому как именно ему пришлось проводить спасательные работы. "Дракон" рвал и метал и, как положено "дракону", пыхал из ноздрей дымом, правда, табачным. "У-у, батон недорезанный! У-у, сухарь панировочный! Увидел он, видишь ли!.. Ты бы лучше за макаронами в котле глядел, а то вечно слипнутся, как глисты в ж..е!"

В спасательной операции участвовали все, кто был свободен от вахты, в том числе и я. Яхтёнку решено было поднимать с помощью кормовой кран-балки. Но прежде, чем удалось закрепить талёвочные гаки, едва не вся спасательная команда набултыхалась в шуге.

При ближайшем рассмотрении, когда мы подняли её на палубу, яхта оказалась внушительней. Это был крейсерский трехтонник с хорошими, ладными обводами, правда,

изрядно помятый паковыми льдами. Киль-бульб, как определил боцман, не подлежал никакому ремонту. Перо руля было заклинено. Люк в рубку - тоже. И чтобы вскрыть его, нам пришлось применять резак и домкраты. "Мудохались, - как сказал боцман, - до опупения". А когда наконец открыли, то все разом примолкли, будто среди арктической пустыни слышали карканье вещего ворона. «Тятя, тятя, наши сети..." - пробормотал боцман. «Арктика чужаков не принимает», - глубокомысленно изрёк штурман Песчанский, словно узрел на шахматной доске посторонний предмет. В рубке оказался труп. Судовой доктор, мельком глянувший на погибшего, заключил, что смерть наступила давно - недели полторы назад. Однако уточнение по сути ничего не меняло. На борту оказался мертвец. И смятение, которое охватило попавший в передрыгу экипаж, поневоле усугубилось. Вдобавок ко всему слёг повар. Он так, бедолага, испереживался, что у него прихватило сердце, и доктор прописал ему постельный режим. Пришлось повару искать замену. Рокировка роковым образом отразилась на наших желудках. "Все галюны о..ристали!" - рычал в связи с этим боцман, однако вскоре приумолк, поскольку и сам внёс свою лепту в галюнную живопись.

По счастью, всё для экипажа закончилось благополучно. Несмотря на критическую ледовую и штормовую обстановку, а также дурные приметы и предзнаменования, мы всё же миновали тот злополучный пролив, именуемый Карскими Воротами. В Баренцевом море нас немного потрепало, но тяжёлых льдов по курсу больше уже не было. Долгий путь до Ленинграда, порта приписки нашего судна, я читал дневники погибшего - всю свою историю он, похоже, таскал с собой. И хоть знаний немецкого мне подчас не доставало, я всё же разобрался в этих записях, представив их здесь в приемлемой для повествования форме.

Многое в этой истории мне казалось непонятным. Например, зачем Йозеф Гишенбет, гражданин Западной Германии, вёл дневник? Ну, ладно в зрелые годы, когда истощаются ресурсы организма - на момент гибели ему было 62 года, - но в молодости-то? Ведь у него была феноменальная память. Он помнил всё до мельчайшей подробности. Или доверяя памяти - своему дару - он не доверял сердцу, понимая, что рано или поздно оно откажет, не позволив выполнить фамильно-родовую миссию? Потому и вёл эти записи, словно готовя эстафету своему возможному преемнику - наследнику или единомышленнику?

И ещё одно осталось загадкой, объяснению чему в записях не оказалось, - название яхты. Можно было только догадываться, в честь кого Йозеф Гишенбет, потомок Карла Гишенбета, окрестил свой парусник. Яхта называлась "Лизхен".

Но самое странное во всей этой истории было, разумеется, не это. И даже не то, что все эти блокноты, тетради и разрозненные листы я обрёл, пусть и на время, посреди Арктики. Главная тайна для меня заключалась в том, что это случилось почти там же, где десятью годами раньше у меня произошла одна невосполнимая потеря. Это было в тот день, когда стряслись термоядерные испытания. Выброшенный чудовищной силой за борт, я барахтался в ледяной воде, сдирая с себя отяжелевшую робу и думал только об одном - о спасении. О том, что в потайном кармане робы у меня защиты секретные тетрадки Стефана Серафимовича, я в те минуты, забывший, кажется, собственное имя, даже и не вспомнил....

Послесловие автора

Что это за тайные тетради, кои ушли на океанское дно вместе с флотской робой? Кто таков Стефан Серафимович? Как его судьба пересеклась с судьбой Михаила

Васильевича? Почему так манила Ломоносова Арктика и почему он её связывал с русской державной судьбой?

Об этом и ещё о многом другом вы, уважаемые читатели, узнаете, если откроете роман «Свиток». Я писал его без малого семь лет. А когда работал над этим произведением, состоящим из двух книг, неизменно чувствовал на своём плече отеческую длань Михайлы Ломоносова, человека-исполина, воплощённого Титана. Именно он как бывалый кормщик-вож и направлял мою творческую лодью все эти годы.